

На двери квартиры была прикреплена маленькая латунная табличка с каллиграфической гравировкой: «Г. М. Ивановъ» и затейливыми виньетками по углам, как на визитной карточке. Жена Максимыча носила гордое римское имя Матрона, слегка скомпрометированное отчеством Ивановна, и недовольно опускала уголки губ, если ее называли Матреной. С ними жила старшая дочь Ирина, которая потеряла мужа на войне, но спустя три года неожиданно обрела внучку. Мать внучки, Иринина дочь, на яростные вопросы родных об отце ребенка отвечать не стала, как не стала и кормить младенца, и ушла то ли постоянно ночевать, то ли временно жить к подруге. Все упреки Матрены, таким образом, достались Ирине. К счастью, ни отвечать, ни оправдываться было некогда. Нужно было покупать молоко на базаре, покупать любой ценой, то есть за любую цену, а для этого нужно было сидеть за швейной машинкой, чтобы на том же базаре продать пару наволочек, что-то из дамского белья или детские чепчики.

Девочка росла здоровым, спокойным и румяным ребенком. Матрона была с правнучкой очень строгой и часто гневно выговаривала дочери, видя ее нежную привязанность к «отродью». Когда Ирина пошла работать на швейную фабрику, в доме стало тише. Ребенок рос, скандал потерял остроту, да и чего уж. Иногда в гости приходила беспутная мать и приносила гостинчик: фигурку из марципана, похожую на серый обмылок, или ромовую бабу, ничего общего ни с ромом, ни с бабой не имеющую.

Шкодой девочку первым начал называть Максимыч, любимый и единственный ее дед, хоть и прадед. Старуха — величественная, как и полагается Матроне, — так часто одергивала правнучку: «Не тронь, шкоду сделаешь!» или: «Ты опять шкоду сделала?!», что Максимыч как-то, морщась и ловя жесткими пальцами пуговицу на косоворотке, подытожил: «Шкода и есть».

Сколько помнила Шкода — а помнила она больше двух лет из своих скромных четырех, — Максимыч всегда носил эти уютные, постиранные до замшевой мягкости сатиновые косоворотки, которые аккуратно заправлял в брюки. У него были густые брови, небольшая седая бородка и упругие усы, которые Шкода старательно причесывала, а старик сидел послушно, как в парикмахерской. Время от времени он ловко хватал зубами маленькие пальцы, быстро поворачиваясь

и лукаво глядя на нее черными, очень живыми глазами: страшно?

С Максимычем никогда не было страшно. Кроме того, у него были вещи, которых не было ни у кого больше, даже у бабушки Иры: *подсигар*, часы на цепочке и язва.

Самой вожаделенной из них, понятно, был подсигар — плоская серебряная коробочка, такая гладкая, что казалась оплавленной. Если надавить выступающий зубчик, крышка отпрыгивала. Внутри ровненько лежали папироски, прижатые резинкой. Узнав, что ни для чего, кроме папирос, подсигар Максимычу не нужен, Шкода долго пыталась выманить ценную коробочку, но дед упрямо отказывался. А жаль: подсигар уютно проскальзывал и укладывался в карман ее пальтишка, что было не раз проверено. Внутрь же можно было упихать множество беспризорных сокровищ: пробку от духов, трамвайные билетки, несколько бусин, двуносый красно-синий карандаш «Победа», обе игральные карты — одну с нарисованным сердцем и другую, с которой улыбался яркий симпатяга в колпаке с бубенчиками, — да мало ли!.. Дед разрешал играть с подсигаром, только не открывать. Тогда Шкода предложила называть недоступный предмет не «подсигар», а «подпапирос», чтобы избавиться от наваждения и не думать, под что еще его можно с умом использовать. Максимыч смеялся долго, вытирая лицо и лысину сложенным носовым платком. Баба Матрена тоже смеялась, колыхаясь всем большим телом под просторным платьем и ловя слезы концом головного платка.

Второе чудо — цепочку с часами — тоже хотелось заполучить, но именно в таком порядке, потому что узнавать время по часам она еще не умела.

Самым же загадочным была язва. Шкода представляла себе язву змеей, притаившейся где-то глубоко внутри Максимыча, и спросила как-то, живая ли она, на что тот бодро ответил: «А как же. Я живой, ну и она живая». Временами змея-язва мучила Максимыча так, что они не только не ходили в парк, а и сам он не вставал с дивана. В эти дни папироски он не курил, пил соду, а когда баба Матрена уходила к плите, лечился. Делалось это так. Дождавшись, пока хлопнет кухонная дверь, он открывал тумбочку, доставал бутылку с бело-зеленой этикеткой, наливал себе полную рюмку лекарства и быстро проглатывал. Бутылка отличалась от других отсутствием длинного бумажного шлейфа и белой панамки на пробке. Рюмку и бутылку Шкода быстро задвигала в глубину тумбочки, а Максимыч

облегченно вытягивался на диване. «Помогло?» — уважительным шепотом спрашивала девочка. «Зараз, зараз», — шептал он в ответ: баба Матрена почему-то не любила это полезное лекарство, и знать о нем ей было нельзя.

Сейчас язва затихла, свернулась неподвижным клубком и мучить Максимыча перестала. Мутный стакан с кристалликами засохшей соды, похожей на свежую порошу, уже не маячил перед глазами. «Одевайся, Шкода! Гулять пойдем».

Когда баба Матрена застегивает ей платье на спине, пуговица всегда цепляет за волосы. «Цыганское отродье, — ворчит она. — С такими кудлами от людей стыдно!» Она со всеми строгая. Максимыч к ней подлизывается, потому что это его мама. Вот и сейчас: «Да мы, мамынька, только в парк на часок. Иди, Шкода, галоши одевать». Баба Матрена сердится еще больше: «Одевай не одевай, галоши рваные! Хоть в ботинках ребенка пускай в такую мокроту». Максимыч быстро надел плащ, даже тросточку брать не стал: «Я сейчас, мамынька», и нету его. А я?! «Оссподи! — сердится баба Матрена, — опять курить...»

Максимыч вернулся скоро, и его борода пахнет улицей и папиросами. Макинтош немножко шершавый, об него приятно тереться носом. «Давай скоренько, — бормочет Максимыч, — примерь-ка», — и достает из-за пазухи что-то в бумаге, и разворачивает, а Шкода уже торопливо стаскивает старые галоши. «Максимыч! Ты где их взял?!» — «Нашел». — «Где?» — «Да я пошел покурить, смотрю — лежат на крылечке... Ты ногу давай. Да не ту, это ж левая!.. вот так, молодца! Не жмет?»

Девочка крепко прижалась лбом к плащу старика, пока он осторожно натягивал блестящую резину на маленький ботинок.

Непривычная к ботинку, новая галоша налезала туговато. Вторая тоже. Максимыч уже который раз находит что-то хорошее. Жалко, что яркой алой серединки не будет видно, но зато галоша блестела, как елочная игрушка. «Максимыч! А это волшебник оставил? Ну, на крылечке?» — «А може... може, и волшебник. Или девочка какая потеряла. Ну, идем?»

Он торопливо заворачивал старые галоши в ту же бумагу, когда вошла Матрон — в черном шерстяном платке и с сумкой. Новая резина пахла пронзительно-остро. Девочка радостно задрала ногу: «Смотри, бабушка Матрена, что Максимыч на крылечке нашел!» Старуха гневно сдвинула брови: «Опять? Зачем ублюдка балуешь? Это ж на какие

такие...», но Максимыч виновато перебил: «Мамынька, так ведь сирота; а ну заболает?» Однако Матрона только разгонялась: «Батьки нету, матке она не нада, даже боты не может ребенку купить!.. На кой балуешь?! Спасибо тебе кто скажет?...»

В пальто было очень тепло. Баба Матрена ругала Максимыча, а у него вываливались из бумаги старые галошки. Ей было скучно слушать про какую-то сироту. Вот бабушка Ира стихотворение знает: «Шел по городу малютка, Посинел и весь дрожал»... Без галош шел, вот и дрожал. Хотелось скорее расспросить Максимыча, как это он нашел. Слово «ублюдок» было новым и непонятным. Присев на корточки, она рассматривала свое отражение в галошах. Помпон на капоре в галоше выглядел крохотным, а нос и рот — огромными, словно надутыми. Она несколько раз тихо произнесла новое слово: оно выскальзывало очень плавно и легко, как леденец. Только бы Максимыч не рассердился. У него есть страшное ругательство, которое он выкрикивает каждый раз, когда они с бабой Матреной долго спорят: «мачесная». На «ма» он сильно топал ногой, а дальше было похоже на чихание, но очень строго.

Протянув руку, она крепко уцепилась за карман дедова макинтоша и протянула ему бамбуковую тросточку. На лестничной площадке Максимыч застегнул плащ и натянул картуз. Девочка осторожно спускалась, держась обеими руками за перила и с нетерпением поглядывая на него. Они вышли из парадного; рядом почти синхронно громко хлопнула дверь обувного магазина.

Хорошо, что к парку надо было идти в противоположную сторону: обувного Максимыч старался избегать. В то время, когда он был еще «Г. М. Ивановъ», там располагалась его мебельная мастерская и вместо унылой продавщицы и нагромождения столь же унылых коробок стояли верстаки, сустились рабочие во главе с ним самим, а ноги утопали в солнечных кудряшках стружек, всегда пахнущих весной.

Пахло весной. Звуки, краски и запахи улицы приобрели особую отчетливость, как бывает, когда смотришь сквозь только что вымытое окно. «Не скажи, коза, нос разобьешь», — тихонько ворчал старик, когда они шли по желтому, истертому подошвами и каблуками кирпичному тротуару, тоже ставшему более желтым и четким, и оба знали, что, пока он держит ее ладошку, нос разбить невозможно. Звонко прокатился трамвай, почти пустой, и в окна можно было увидеть болтающиеся на штангах кожаные

петли, за которые никто не держался. Параллельно тротуару шла лошадь, осторожно перебирая копытами по булыжнику. На телеге стояла огромная бочка, а возница держал вожжи с таким безразличным видом, словно они и вовсе не были нужны. Многие встречные уважительно с ним здоровались, и он узнав, но без улыбки кивал в ответ. «Кто это?» — спросила Шкода, быстро повернувшись к деду, отчего помпон на капоре метнулся, словно заячий хвост. «Золотарь», — усмехнулся старик. «Почему, Максимыч?» — «Золото везет». Шкода не отставала: «Где золото? — «В бочке, где ж еще».

Это было так же непонятно, как «ублюдок». Если он везет в бочке золото, чего ж не оделся понаряднее? И где он столько золота — полную бочку — взял? Может, лебедь белая наколдовала? Нет, никак этот вонючий дядька не был похож на князя Гвидона. Максимыч не обманывает, он шутит. Как он шутил тогда, после обеда: «Шкода, наелась? Вкусно было? А ну, дай пузо полизать!» Все смеялись, даже бабушка Ира, и говорили, что это шутка. Наверно, он и сейчас шутит. А про золото у бабушки Иры спрошу.

Снег уже сошел, дорожки в парке были темные и упругие. Скамейки подсохли, и Максимыч, прислонив тросточку, сел выкурить на солнышке папироску. Шкода села рядом и, держась обеими руками за скамейку, вертела по очереди то одной, то другой ногой в рейтузах, восхищенно любуясь галошами. Потом осторожно сползла, держась за его плащ, и спросила: «Максимыч, можно к девочкам?» У соседней скамейки, метрах в тридцати, играли две девочки постарше, катая игрушечную коляску. Их матери сидели на скамейке вполоборота друг к другу и увлеченно беседовали. «Только котика, — говорила одна, для понятности припечатывая ботиком гравий, — я моему так и сказала: только котика. Каракуль уже никто не носит». Вторая с вежливой ненавистью смотрела на топающий бот. Удовлетворенно отметив, что размер бота намного больше ее собственного, с достоинством застегнула каракулевый воротник. Обе равнодушно посмотрели на приблизившуюся Шкоду. Девочки вдвоем вцепились в ручку коляски и начали катать ее взад и вперед. Шкода улыбнулась коляске и подняла глаза на счастливиц. Лица у них стали одинаковыми и взрослыми, а коляска заерзала по гравию еще усердней. «Как тебя звать?» — обратилась Шкода к ближней девочке. Девочка не ответила и подтолкнула подружку, которая остановила коляску. Та протараторила, глядя на Шкоду в упор: «Звать —

разорвать, фамилия — лопнуть», потом повернулась ко второй, и обе засмеялись. Ее подруга добавила: «Мы с цыганками не водимся», — и обе засмеялись опять.

Женщины продолжали: «...первую петлю просто снимаешь, не провязывая». — «Вообще?» — «Ну да. Иначе край ровный не получится».

Максимыч расстегнул верхнюю пуговицу плаща, снял картуз, разгладил ладонью седой газончик волос вокруг лысины и опять надел. Хорошо они вместе играют, вон как хохочут, а то что ж она все одна да одна. С детьми тоже надо. На дворе одну не оставишь, а сюда можно хоть каждый день приводить. Пусть и свою куклу какую захватит. Разнообразие; а то все дома. Вот поиграют еще малость, и пора домой, обедать.

Девочки смеялись и по очереди показывали на Шкоду пальцами: «Цыганка! Цыганка!», зажимая ладошками рты, словно пытались удержать смех, но не по-настоящему, а чтоб вышло обидней. Кукольная коляска неуверенно проехала пару шагов и уперлась в пустой край скамейки. Одна из сидящих женщин крикнула: «Лора! Прощайся, нам пора домой, обедать», потом снова повернулась к собеседнице.

Ноги в новых галошах вдруг начали подворачиваться. Больше всего она боялась, что коляска толкнет ее в спину, и она упадет. Скамейка с Максимычем была очень далеко, и надо было пройти весь путь так, словно она сама передумала и решила вернуться.

Вскочив со скамейки, Максимыч успел подхватить падающую девочку: «Куда ж ты так, я за тобой не поспею!..» Он хотел усадить Шкоду рядом с собой, но она не отпускала его шею и так и осталась сидеть на коленках, плотно вцепившись ему в лацканы и спрятав лицо. Помпон чуть вздрагивал. Старик обхватил капор и повернул к себе мокрое лицо. «Ты что? Обидели?.. Кто тебя?» — тревожно выпрашивал он. Повернул голову к соседней скамейке, но там никого не было. В нескольких шагах валялась яркая детская вязаная перчатка. Пальцы были растопырены, словно отталкивались от влажной дорожки. «Что ты плачешь?» — «Я цыганка! Максимыч, я цыганка?.. — бормотала, горестно глядя на него. — Они со мной не играют, — кивнула помпоном в сторону, — и баба Матрена ругается...»

Старик коротко вздохнул. «Не сердись на бабу, она ж не тебя — она меня ругает: я и есть цыган». — «Ты?!» — «Я. У меня мамка-то цыганка была, мой папаша привез ее с Польши». — «Баба Матрена?» — «Да не! Моя мамаша. Она

уж покойница, Царствие ей Небесное», — Максимыч снял картуз и перекрестился. «А баба Матрена тебе не мама?» Старик засмеялся: «Нет. Она ж твоей бабы Иры мамка!» — «А почему ты ее мамынькой зовешь?» — «Да привык. У нас пятеро ребят было, и все: мамынька да мамынька, ну так уж и пошло». Слезы высохли, и Максимыч был рад без памяти, что девочка забыла о своем горе. Он осторожно ссадил ее с колен и встал со скамейки, разминая ноги. Шагнув вперед, бережно подобрал оброненную перчатку и аккуратно пристроил между брусьев скамейки, чтоб видно было. Придет ребенок домой, там хватятся... а так завтра найдут.

Оказаться в компании с Максимычем было не только не страшно, но даже весело, хоть и необычно. Цыган Шкода встречала часто — они жили на соседней улице, рядом с парикмахерской, куда Шкода с Максимычем ходили стричься. Его все знали, уважительно здоровались, останавливались поговорить о непонятном, причем Максимыч неизменно вытаскивал свой подсигар. Мужчины прикуривали, сверкая золотыми зубами в ярко-черных бородах, а она скучала, рассматривая «цыганский дом». Все три этажа желтого каменного здания заселяли несколько семей, но ей всегда казалось, что там живет одна огромная семья. Мужчины носили сапоги (она поняливо покосилась на ноги деда), и у каждого был самое малое один золотой зуб во рту, что делало улыбки зловещими, а смеялись они часто, перекрикиваясь на непонятном языке. Женщины были одеты в длинные яркие юбки, а вместо кофт носили платки с кисточками, как на бабушкиной скатерти, и тоже улыбались золотом. Дети никогда не ходили, а только бегали, кроме завязанных в платки, которых держали на руках. Время от времени из дома выходили цыганки с клубящимися вокруг детьми, мужчины выносили какие-то узлы и запрягали лошадей, все усаживались в телеги и куда-то уезжали, громко и сердито крича. Бабушка Ира говорила, что в деревню; баба Матрена как-то загадочно: «на гастроли».

«А ты умеешь говорить по-цыгански?» — с любопытством спросила Шкода. «Да откуда? Мамаша моя с Польши, по-польски и говорила. Ну и по-русски тоже умела, а как же! Отец-то у меня русский был». Он усмехнулся. Родители говорили по-русски, все двенадцать детей и записаны были по отцу, и сами считали себя русскими. Однако польский язык оказался цепким, словно столетник на подоконнике: и не поливает вроде никто, а он нет-нет да и выпустит свежий яркий побег. Вот и Матрена: уж на что покойницу-свекровь

не любила и высмеивала, а словечки польские приняла легко и охотно, да еще небось разгневалась бы, знай, что польские.

Он вытащил из кармана тусклые старые часы на цепочке, взглянул, отодвинув руку вперед, на циферблат, но понять, который час, не сумел, остановленный новым вопросом: «Максими́ч, а ты тоже ублюдо́к?» Медленно спрятал часы обратно и сказал: «Иди сюда, коленки почистить надо. Рейтузы не порвала? А галоши вон в луже обмоем». Шкода терпеливо перенесла весь обряд очищения, включая неизбежный носовой платок, который Максими́ч слегка поклонил и затем осторожно стер с ее щеки грязь. Платок пахнул табаком. Девочка взяла его за руку и пошла к луже, которая затаилась под скамейкой, как маленький пруд. Старик приподнял ее под мышки и держал так, пока она медленно болтала галошами в воде. Выпрямившись, сама поправила капор и повторила: «Скажи, Максими́ч?..»

«Мать Честная, Пресвятая Богородица! — громко выкрикнул он, с яростью ткнув тросточкой в гравий. — Ты где такое паскудство слыхала?!» — «Баба Матрена сказала. А это что, Максими́ч?» — «Слово паскудное! Вот я тебя заставлю рот с мылом мыть!» Девочка смотрела на тросточку, на крепкую руку, сжимавшую рукоятку, и, дождавшись паузы, спросила: «Как “маччесная”?»

Максими́ч ошеломленно взял ее за руку и, сердито опираясь на тросточку, повел по дорожке. Домой спешить не хотелось. Доктор предупреждал, что кушать надо всегда вовремя, да только мог бы и не трудиться: тянущая боль в желудке сама напоминала о времени обеда. А при скандале какой же обед. В том, что без скандала не обойдется, Максими́ч не сомневался. Что ж это они все, Мать Честная?! Он не удивлялся, когда жена попрекала его их стариковской нищетой, и дело было не в тех грошах, которые оба они получали «по старости»: старость и впрямь получалась дешевой донельзя. Нет, Матрена не могла простить их миллиона в банке, который лопнул. И не у них одних деньги пропали, но об этом и заикаться не стоило — тогда ему припоминалось все: и нагло оттяпанная государством мастерская, и солидные заказчики, и — повтор с разгоном — миллион в банке, и — уж извольте радоваться! — матушка--цыганка, Царствие ей Небесное. Ничего не помогало: ни что матушка давно уж покойница, ни что крещена была, перед тем как венчаться... Максими́ч привык быть виноватым перед женой за все, на что она привыкла гневаться: за жидкое молоко в лавке и за то, что нигде, кроме как в этой лавке, его

не купить; за внучкин грех; за безденежье и пропавшего без вести на войне сына, за неприличную цыганскую смуглость внучки, а теперь и правнучки; даже за его язву.

Словно подслушав воровато последнее слово, желудок отозвался резкой, сводящей болью. Мать Честная! И ничего не сделать — весна, как доктор и говорил: весной, мол, и осенью всегда будет хуже. Как будто ни зимы, ни лета в помине нет. Осторожно ступая, Максимыч медленно опустился на ближнюю скамейку. «Зараз, зараз, — бормотал, — на вот, поиграй пока», — и протянул девочке портсигар. Шкода бережно погладила теплое серебро. Как-то сама собой нажалась пружинка, и подсигар послушно открылся, как книжечка. Внутри щекотно и приятно пахло Максимычем — табаком. Девочка взглянула на деда, не видел ли он запретного действия: Максимыч сидел напряженно, чуть согнувшись, а лицо у него было такое, как будто ему не хочется гулять.

Вот этот кусочек — четыре скамейки — до выхода и один квартал. И через дорогу. Потом только лестница — три этажа — и все. Можно будет выпить стопку и лечь. Пара минут, и боль онемееет. Весна, говорил доктор.

Шкода осторожно сомкнула створки портсигара, и он закрылся тихим щелчком. «Сейчас придем домой, — лукаво улыбнулась она, — и ка-а-к крикнем бабушке Матрене: цыгане пришли! Да, Максимыч?»

Улыбнулся через силу, через сильную боль, но не улыбнуться не мог. «Шкода, Шкода, — медленно выговорил он, — давай сюда подсигар, это не игрушка».

ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЛКА

Бабушка Матрена собиралась уходить очень давно, но все не уходила, только хмурилась и бормотала: «Ключи... Платок... Кошелек...» Уже в пальто, повернулась и погрозила Шкоде пальцем:

— Смотри!..

Девочка послушно ждала, пока закроется дверь. Два раза щелкнул замок, словно орешек разгрыз.

Ушла.

Шкода видела в окно деревья, противоположный тротуар и магазин, у которого стояла очередь. Над входом висел плакат «Слава Октябрю», хотя был май. Открывать окно нельзя, «а то шкоду сделаешь», но никто не запрещал лечь на пол. А кто мог запретить? Бабушка Матрена ушла, дед лежал в больнице, мама уехала еще до Пасхи. Она долго собиралась и примеряла два новых платья, но в чемодан положила только одно. Потом передумала, вытащила первое и начала складывать второе. Вдруг заплакала прямо над открытым чемоданом, и бабушка рассердилась:

— Что ж он за цаца такая, что ты столько денег промотала? Вон одна завивка небось...

— Он никакой не «цаца», он... У него творческая жилка!

Бабушка неожиданно засмеялась:

— Это ж какой тебе прок с этой жилки, что белугой реवेशь ни с того ни с сего?

И ушла на кухню. Все знали про какую-то цацу с творческой жилкой, и Шкоде стало очень интересно, как эта жилка выглядит. Она спросила у мамы, но та сказала: «Сама увидишь» — и села красить ногти. На следующий день мама должна была уезжать на курорт, и не сама по себе, а с Творческой Жилкой, так что увидеть цацу Шкода не могла.

— А курорт — это далеко?

— Будь здоров, — ответила мама, хотя Шкода и не думала чихать.

— Ты на такси поедешь или на трамвае?

— Дурашка ты! На такси до курорта не добраться. Мы на поезде поедem.

— Ты и цаца?

Мама рассердилась.

— Эт-то что такое? Сама от горшка два вершка, как ты выражаешься?!

Надо было дожидаться деда из больницы, он скажет. Когда дедушка Максимыч опирается на тросточку, на его

руке вздуваются жилки. Закашляется — жилка дергается на шее. На бабушкиных руках, когда та стирает белье, такие же. Это творческие или не творческие?..

...Снизу все выглядело иначе, даже буфет, известный давным-давно, потому что буфет намного старше Шкоды. Там за стеклом стояли сахарница, вазочка с печеньем и банка какао, а во втором ряду всякие коробочки и кулечки разных размеров. Встав на придвинутый стул, девочка осторожно, чтобы не уронить сахарницу, попыталась их достать. От коробочек приятно пахло киселем, яблочным пирогом и еще чем-то знакомым. Внутри, однако, не нашлось ничего даже отдаленно напоминающего вкуснятину, только тонкие палочки и какая-то темная труха. Шкода хорошо знала вкус какао, поэтому уверенно сняла крышку с банки. Внутри был порошок, вроде маминой пудры, только коричневый. Она послонила палец и, сунув его в банку, облизала. Пыль какая-то, а не какао.

Поставив банку на место, она собралась уже спускаться, но взгляд упал на другую полку. Там в ряд, как солдатики, выстроились тонкие рюмки, фарфоровые мальчики и девочки кланялись друг другу и стояли маленькие, но очень тяжелые часы в золотых завитушках. «Это бронза», — поправила когда-то бабушка таким строгим голосом, что стало ясно: по сравнению с таинственной бронзой золото — тьфу. Часы настоящие, только не ходят, потому что были поломаны «в мирное время». Наверное, тогда же перестали ставить на стол нарядные рюмки, решила Шкода, — рюмки тоже были настоящие.

Она поставила стул на место, к этажерке, отчего та покачнулась, и сверху свалился желтый комочек. Это был смешной цыпленок, подаренный ей на Пасху. Цыпленок был сделан из желтой ваты, на голове у него сидела черная блестящая шляпа, как у трубочиста, а сбоку была прикреплена тросточка. В тот день трудно было дожидаться, когда разойдутся гости, — хотелось скорее с ним поиграть, однако бабушка Матрена не дала — ловко схватила подарок и поставила на верхнюю полку.

— Это не игрушка. Шкоду сделаешь.

Обидно — девочка как раз собиралась познакомить веселого цыпленка с одноухим медведем, плюшевым слонем и куклой Наташей, даже расставила кукольный сервиз.

Несколько дней Шкода ходила за прабабкой, выклянчивая цыпленка «только потрогать одну минуточку». Та вздохнула,

открыла шкаф и долго что-то в нем искала. Наконец захлопнула дверцу и вытерла вспотевшее лицо.

— На вот, играй!

В протянутой руке бабушка Матрена держала... маленькую тетеньку. Потому что кукол таких не бывает, и Шкода смотрела заворуженно, забыв свою обиду и даже про цыпленка желтенького забыв.

— Это мамки твоей кукла, с мирного времени. Немецкая работа; сейчас разве таких делают?

Она презрительно взглянула на целлулоидную Наташу в окружении слона и увечного медведя, бережно расправила розовые, мирного времени, складки платья и сунула куклу правнучке.

— А как ее зовут? — Шкода все еще не решалась взять куклу-тетеньку в руки.

— Мамка твоя со своего курорта приедет, у ней и спрашивай.

Выяснилось, что мама вернется не скоро, только через три недели, вместе с Творческой Жилкой.

Даже в витрине «Детского мира» таких кукол не бывает. Ноги сгибались в коленках, а руки в локтях, и только пальцы оставались неподвижными, зато ладошки вертелись во всех направлениях — у Шкоды так не получалось. А лицо! Кукла-тетенька улыбалась, отчего на щеках у нее были ямочки, в чуть приоткрытом рту белели зубки. Наташа с медведем любовались на нее во все три глаза.

Шкоде на секунду стало жалко Наташу, с ее пластмассовыми, как и вся она, волосами и добрыми неподвижными глазами, день и ночь открытыми; но только на секунду. Схватив расческу, девочка начала причесывать густые, мебельного цвета волосы новой куклы. Волосы были волнистые, пышные и блестящие. Наверное, кукле не нравилось причесываться — а кому нравится? — и, хоть она продолжала улыбаться, то и дело моргала, мелькая ресницами. Положишь — закроет глаза, как Спящая красавица. Посадишь или поставишь — опять открывает.

Шкода старательно завернула мамину куклу в старый бабкин платок и положила спать в Наташину кроватку — пускай отдохнет, устала небось от мирного времени. Вон часы совсем сломались... Наташа не обиделась, а кукла-тетенька закрыла глаза, но даже во сне улыбалась.

Куклу можно было причесывать, носить на руках — и снова заворачивать в платок, а больше с ней делать было нечего, потому что как ее зовут, знала только мама. Скорее

бы она из своего Курорта приехала. Мама, наверное, каждый день гоголь-моголь пьет, потому что в Курорте много куриц. И цаца с творческой жилкой тоже пьет. Курицы там везде, и цыплята тоже, вот такие, только без шляп и тросточек, а живые. Можно взять цыпленка и поиграть немножко, пока бабушки нету, он ведь сам упал. Можно завернуть его в платок вместе с маминой куклой, у цыпленка ведь тоже нет имени, он просто цыпленок. Увидев его в первый раз, Шкода сразу придумала имя: Христос Воскрес, но бабушка Матрена рассердилась и не позволила.

Кукла-тетенька смотрела на цыпленка, чуть улыбаясь, и Шкоде показалось, что он вот-вот снимет шляпу, так что захотелось ему помочь. Она потянула тихонечко цилиндр, и он приподнялся, потянув за собой желтую вату. Так же легко вата отставала от крылышек. Она отщипнула крохотный клочок — ничего не было заметно. «Никакую шкоду не сделала», — решила девочка. Медленно переводя взгляд с куклы на цыпленка, она задумалась, а потом уверенно взяла с подоконника ножницы. «Длинные отросли, — говорила мама, — пора нам с тобой в парикмахерскую».

Вот и у нее длинные отросли. Пора.

Пышные кудри падали на платок и на пол. У Шкоды покраснели пальцы, ножницы стали теплыми и скользили. Кукла помаргивала, но продолжала улыбаться. Волосы шелестели под ножницами, как масло на сковородке.

Максимыч, наверное, гордился бы. Он говорил часто: «Терпение и труд все перетрут». Почти все локоны валялись на полу. Куклина голова стала маленькой, как кочерыжка. Неровные клочки торчали в разные стороны.

Может, отрастут?..

Ведь эта кукла совсем не такая, как другие. Девочка посмотрела на старую верную Наташу со скользким пластмассовым чубчиком, не боявшимся никаких ножниц, и заметила цыпленка, о котором начисто забыла. А что, если?..

Там же, на подоконнике, стояла бутылочка с надписью: «Клей конторский». Шкода не раз удивлялась, зачем переставили слова — написали бы: «Конторский клей», но сейчас удивляться было некогда. Кисточка не нужна — она торчала прямо из крышки и всегда сидела в бутылке.

Первый клочок ваты лег на куклину голову неровно, но цыпленок оставался таким же пухлым. Дальше пошло

быстрее: мазнуть по голове клеем, отщипнуть кусочек ваты и прилепить.

Кукла послушно улыбалась. Цыпленок худел. Грязные желтые хлопья прилипли к пальцам и не отклеивались. Это замедляло работу; пришлось мыть руки.

«Клей конторский» быстро высыхал. Цыпленок кончился, оставив две тонкие проволочные ножки, блестящий цилиндр и тросточку. Желтая вата новой прически, торчащая веселыми лохмами во все стороны, лишила куклу всех примет мирного времени. Голубые глаза выжидательно смотрели на девочку. Шкода замерла и вдруг воскликнула:

— Шалава, вот кто ты! Шалава!

И правда: в новом виде кукла удивительно была похожа на соседку с пятого этажа, которую все называли Шалавой. Однажды Шкода поздоровалась очень вежливо, встретив ее во дворе: «Здравствуйте, тетя Шалава!», за что мама больно ткнула ее в бок, а дома ругала: «Кому Шалава, а тебе тетя Дуся, и чтоб я ничего подобного не слышала!» Правда, тетя Дуся-Шалава на нее не обиделась, а, наоборот, улыбнулась ласково и сказала: «Играй, детка, играй». Она шла медленно, задевая забор, и, посмотрев ей вслед, Шкода увидела большое грязное пятно на спине светлого плаща.

Вместо плаща подошло Наташино белое платье. Старая резинка от трусов стала поясом.

— Ты — моя Шалава, — ласково повторила девочка.

Два раза хрустнул орешек замка, дверь открылась... и стало тихо.

— Никак, опять шкоду сделала?

Старуха расстегивала пальто и строго глядела на правнучку. Та, просияв, вскочила с пола и протянула куклу:

— Смотри, бабушка, это — Шалава!

УРОК МУЗЫКИ²

Звонок уже был, а второй «А» все еще строился, чтобы идти на физкультуру. Учитель, молодцеватый парень в голубом шерстяном тренировочном костюме, уже несколько раз подносил к губам свисток, но лениво отпускал его болтаться на шее. Он скучал. Раздражала мелюзга, бестолково дергающая тяжелую дверь актового зала, он же спортивный. Раздражал предстоящий урок с этими недоростками, которые при команде «Равняйся!» испуганно таращились на него, вместо того чтобы повернуть голову. Он свистнул наконец и сам легко дернул дверь. Второклассники торопливо вбежали в зал и начали выстраиваться в ряд, делая «восьмерки» и мешая друг другу. Он уже собрался захлопнуть дверь, как увидел в конце коридора неловкую, оплывшую фигуру завучихи, похожую на редьку. Чуть позади, то и дело замедляя шаг, чтоб не врезаться в спутницу, шел высокий худощавый незнакомец в белом халате. Ага. Сейчас этот айболит заведет: «Скажи “а-а-а”», а чтоб меня предупредить заранее?! Завучиха суетливо махала какой-то бумагой и кричала: «Ива-анкирилч! А-адну минуту!...» Физкультурник не торопился; пусть пробежится. Озабоченно поправил свисток и позволил себе слегка нахмуриться: у меня класс ждет, что такое?

Стоявшая третьей от конца Нелька увидела, что лицо у Кирилы стало очень гордым и слегка обиженным. За ним в зал вошли завучиха и незнакомый седоватый дядька в белом халате. Доктор? Завучиха начала говорить с Кирилой — как обычно, громко, с надрывом, двигая руками и нагибаясь вперед — словно гребла.

Эти русские, думал врач, кивнув физкультурнику и быстро оглядев неровный ряд детишек. Нет, это в самом деле вопрос культуры. Культуры и организованности, поправил он себя. Какой идиот в их идиотском РОНО решил, что я в состоянии за один урок проверить на сколиоз сорок с лишним человек?! Преподавателя, естественно, не предупредили. Печалиться он не будет, но на их идиотском педсовете скажет тронную речь — вот так, с полицейским свистком на груди, в тренировочном костюме и явится. Взглянув на непрерывно говорившую завучиху, врач увидел аляповато накрашенный рот с пузырьками слюны в уголках. Вырез шерстяного жакета слева был испачкан мелом. Это она бретельку бюстгалтера

поправляет, догадался врач. Искривление позвоночника. Пора эту курицу выставить.

— Извините, — сказал он негромким баритоном, — но мне нет много времени.

Завуч перестала грести и засуетилась к выходу, обернувшись и бросив свирепый взгляд на детей. Врач говорил с акцентом, был непривычно вежлив и потому непонятен. В дверях она столкнулась с физкультурником, который быстро прошел вперед.

Завуч семенила на толстых каблуках по коридору, натертому оранжевой мастикой. Упруго и бесшумно отталкиваясь резиновыми тапками от опасного пола, физкультурник стремительно удалялся. Стиляга несчастный; вот завтра и будешь вывешивать над входом праздничный транспарант. Она рванулась было вперед, чтобы окликнуть «стилягу», но он был уже недосыгаем. Ладно. Взгляд упал на школьную стенгазету: «95-я годовщина...» Молодцы, успели к 22-му апреля. А это что такое?! Подойдя вплотную, уставилась в рисунок, привычно поправив под жакетом сползающую лямку. Бессмертный профиль был старательно исполнен черной тушью. Изображать вождя, без диплома?! Художники... от слова «худо». Кто газету выпускал, шестой «Б»? Она заторопилась к учительской. Нет, у них в Курске было проще. Но здесь, слава богу, тоже советская власть, нравится это кому-то или не нравится. Доктор... фашист недобитый.

В актовом зале у рояля тихонько шептались девочки — из тех, которые время от времени приносили с собой в школу большие черные папки на блестящих витых шнурах. В них носили ноты. На обложках было неразборчивое, но очень красивое тиснение, словно кто-то размашисто и с нажимом расписался. Папки были одинаковые. Когда их владелицы начинали говорить между собой о музыке, их лица становились озабоченными и высокомерными. Все это таинство называлось «ходить на музыку». Нелька на музыку никогда не ходила. Загадочную черную папку она увидела раскрытой только однажды, когда одна из посвященных жаловалась другой: «У меня вот это место не получается». Для Нельки «это место» выглядело как черника, нанизанная на соломинки. Летом она сама так насаживала, только гораздо ровней.

Откуда здесь это диво, поразился врач, увидев рояль. Могу себе представить, в каком он состоянии. У них же тут и физкультура, и пение, и танцы с бубнами. Варварство.

— Начнем, пожалуйста, с девочек, — произнес он негромко, вызвав легкое веселье непонятной своей вежливостью и легким акцентом. Он привычно построил детей спинами к себе и опытным взглядом окинул шеренгу голубых маечек и черных сатиновых трусов. Снять бы майки, так ведь замерзнут, в зале холодно. Посмотрю по лопаткам. Быстро записал несколько фамилий и перешел к мальчикам, которые от скуки начали толкаться и наскакивать друг на друга. Проведя всю привычную рутину поверхностного осмотра и взглянув на часы, доктор с досадой обнаружил, что осталось почти полчаса. У рояля толпились девочки. Он подошел и поднял крышку. Крепкая блондинка с открытым и улыбчивым лицом стояла впереди, глядя ему прямо в лицо.

— Ты умеешь играть? — спросил врач.

Дети закричали наперебой: «Да, да! Она умеет! Еще как!» Совсем рядом с ним маленькая цыгановатая девочка (спина хорошая, сколиоза нет) произнесла тихо и восхищенно: «Таня ходит на музыку». Доктора передернуло: «ходит на музыку», Боженька мой. Даже своему языку научить не могут. Он придвинул круглый табурет и кивнул уверенной Тане:

— Прошу. Что ты хочешь исполнять?

Девочка, повернувшись лицом к ребятам, звонко объявила:

— «Полонессагинскава», — и тут же бойко застучала по клавишам.

Рояль был в очень хорошем состоянии, явно недавно настроен. Когда таинственное произведение отзвучало, доктор повернулся к детям и спросил:

— Кто-то хочет еще сыграть?

С физкультурой повезло. Кирила не возвращался, завучиха тоже. Доктор нестрашный, прививки делать не будет. Когда он открыл рояль, Нелька незаметно дотронулась до клавиши, но никакого звука не получилось. Наверно, Полонесса — дочка этого Гинского. А может, у него две дочки — Полонесса и Инесса, как та с косами из седьмого «Б»... Сначала поиграли те, кто ходит на музыку, а потом доктор ловко подкрутил круглый одноногий стул и сам уселся за рояль:

— Я вам сыграю вальс. Он называется «Сломанные сосны».

В последний раз этот вальс исполнял его крестный на таком же рояле, у себя на даче. Крестный не был музыкантом, но он благодарно любил и прекрасно знал музыку, великолепно исполнял и сам импровизировал. Послушав эти беспомощные экзерсисы — «Казачок», «Ригодон» какой-то и — уж извольте радоваться! — «Полонез» Огинского, доктор ощутил такую боль за прекрасный инструмент, за крестного, за необходимость говорить на чужом языке, что не задумываясь сел играть любимый вальс. Пусть эти неразвитые одноязычные дети послушают Музыку.

Они слушали. Неразвитые одноязычные дети, со сколиозом и без, голоногие, озябшие в своих куцых майках, обступили рояль и слушали. Краем глаза врач увидел смуглый курносый профиль, плотно сжатые губы и тонкую шею, напряженно вытянутую в его сторону. Грузинка? Армянка? Кого только теперь не встретишь в этом благословенном городе... Девочка стояла в стороне, как будто боялась дотронуться до инструмента. Последний аккорд.

Неужели музыка совсем кончилась? Теперь, когда Нелька поняла, как надо играть?! Не как Таня играла и не как Нинка, хоть они и на музыку ходят. Играть надо так, как доктор: надо нажимать сразу на много клавиш, и тогда получится музыка, а не... «Полонесса» какого-то Гинского. Ведь ясно, что это «Сломанные сосны», даже если б он не сказал!

Десять минут как-то нужно убить, хоть на самостоятельность. Иначе эти маленькие дикари будут терзать инструмент. Они уже галдят и толкаются. Черненькая так и не двинулась. Станный ребенок. Доктор увидел, что маленькие смуглые пальцы теребят вырез майки.

— Ты, может быть, тоже играешь на фортепьяно? — спросил он с иронической полуулыбкой.

Девочка подняла глаза и тихо ответила:

— Да.

Он проделал все то же самое: раскрутил стул, придвинул его ближе, чуть поклонился и даже шаркнул ногой, хоть никто не засмеялся. Все молчали. Доктор помог ей усесться. После этого Нелька начала играть — так же, как он: громко, не пропуская ни одной клавиши, которая казалась нужной в этот момент, торопливо хватаясь за другие и стараясь не пропустить эти черненькие. Иногда она озабоченно качала головой, иногда чуть прикрывала глаза. Очень хотелось откинуться скорбно назад, как доктор, но боялась сползти со

стула. Если они засмеются, я совсем закрою глаза. Касаться пальцами клавиш было очень радостно.

Что она делает, Господи, недоумевал врач. Острые лопатки под голубой майкой ходили ходуном, темные локти взлетали над клавиатурой. Он чуть передвинулся. Стали видны маленькие неумелые пальцы, с отчаянием топтавшиеся по клавиатуре. Какофония была неопиcуемой, однако дети молчали. Доктор незаметно следил за девочкой. Полуприкрытые глаза и совершенно счастливое лицо. Такое лицо было у крестного, когда он импровизировал. После звонка ее заключают.

После звонка он всем расскажет, что я не хожу на музыку. Он уже понял и пока что меня не выдает.

Звонок прозвучал так же, как последний аккорд «Сломанных сосен». Нелька взмахнула обеими руками и величаво обрушила их на клавиши, закрыв глаза. Бережно закрывая инструмент, доктор спросил:

— Что ты играла?

Голубые майки стремительно смыкались вокруг рояля. Сползая с табурета, цыганка ответила:

— Это Пуччини, — и повернулась к нему спиной. Дети возмущенно кричали: «Нелли! Ты не говорила, что ходишь на музыку, это нечестно!» — «Мы не знали, что ты тоже играешь!»

Врач оцепенел. Смуглая девочка вполоборота настороженно посмотрела на него, кивнула и первая побежала из зала.

Она была уверена, что именно так звучит пучина.

Конец ознакомительного фрагмента.
Для приобретения книги перейдите на сайт
магазина «Электронный универс»:
e-Univers.ru.